

Оноре де Бальзак

Мараны

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Б21

Бальзак О.
Б21 Мараны / Оноре де Бальзак – М.: Книга по Требованию, 2012. – 46 с.

ISBN 978-5-4241-2087-9

То, что успел создать Бальзак, огромно и значительно. Его творения поставили его в число величайших писателей Франции. Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеванных смятением и ужасом.

ISBN 978-5-4241-2087-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Оноре де Бальзак
Мараны

Графине Марлен¹.

Несмотря на дисциплину, которую маршал Сюше ввел в своей армии, ему не удалось предотвратить волнений и беспорядка, возникших на первых порах по взятии Таррагоны². По словам некоторых военных, заслуживающих доверия, это опьянение победой сильно походило на грабеж; впрочем, маршал сумел быстро положить ему конец. Порядок был восстановлен, полки размещены по казармам, комендант города назначен, пришли военно-административные власти. Город сразу приобрел двойственный облик: если все здесь было поставлено на французский лад, то испанцам предоставлена свобода упорствовать *in petto*³ в своих национальных вкусах. Начавшийся было грабеж — трудно сказать, сколько времени он длился, — как всякое событие под луной, имел свою причину, и отгадать ее легко. В армии маршала был полк, почти целиком состоявший из итальянцев; командовал им некий полковник Эжен, человек необыкновенной отваги, второй Мюрат, который слишком поздно попал на войну и потому не получил ни Бергского великого герцогства, ни Неаполитанского королевства, ни пули под Пиццо⁴. Но если его не пожаловали какой-нибудь короной, зато место в бою предоставили такое, где пули так и летали; что мудреного, если в него их угодило несколько? В этот полк входили остатки Итальянского легиона, который был для Италии то же, что для Франции ее колониальные батальоны. Сборный пункт его, расположенный на острове Эльбе, служил местом почетной ссылки господских сынков, внушавших семьям опасения за свое будущее, и тех неудавшихся великих людей, которых общество заранее метит каленым железом, называя их *пропащими*. Людей, в большинстве своем непонятных, существование коих может стать либо прекрасным благодаря улыбке женщины, способной совлечь их с блестящего, но проторенного пути, либо ужасным под влиянием обидного замечания, вырвавшегося к концу пьяной попойки у захмелевшего собутыльника.

Итак, Наполеон зачислил этих молодцов в 6-й линейный полк, надеясь почти всех, кроме растерзанных пушечным ядром, произвести в генералы. Но расчеты императора оправдались лишь в той части, которая касалась опустошений, вызванных смертью. Полк, не раз сильно редевший и неизменно пополнявшийся, прославился великой доблестью на войне и самым гнусным поведением в мирной жизни. Во время осады Таррагоны итальянцы потеряли своего знаменитого капитана Бьянки, того самого, который в походе побился об заклад, что съест сердце испанского часового, и действительно съел его. Об этом бивуачном развлечении повествуется в другом месте⁵ (см. «Сцены парижской жизни»), и там о 6-м линейном приводятся подробности, подтверждающие все, что рассказывается здесь. Хотя Бьянки являлся главарем сущих дьяволов, которым полк был обязан своей двойственной репутацией, все же он обладал своего рода рыцарской честью, ради которой в армии прощают излишнюю жестокость... Коротко говоря, в прошлом веке Бьянки был бы отменным флибустьером⁶. За несколько дней до взятия Таррагоны он отличился блестящим подвигом, который маршалу было угодно отметить благодарностью. Бьянки отказался от повышения в чине, пенсии, нового ордена и вместо всякой награды потребовал права первым двинуться на штурм Таррагоны. Маршал согласился с этим требованием и забыл о нем. Но Бьянки напомнил ему о себе. Бешеный капитан первым поднялся на городскую стену, водрузил французское знамя и был убит каким-то монахом.

Это историческое отступление понадобилось для того, чтоб объяснить, каким

образом. 6-й линейный полк первым ворвался в Таррагону и почему беспорядок, столь естественный в городе, взятом с бою, так быстро перешел в легкое мародерство.

В этом полку служили два офицера, мало приметные среди его железных людей, однако вместе они сыграют в этой истории значительную роль.

Один из них, офицер интендантской службы, ведавший обмундированием, — чин полувоенный, полугражданский — слыл, выражаясь солдатским языком, «мастером обдeldывать свои делишки». Он строил из себя удальца, хвастал в свете, что служит в 6-м линейном, умел лихо закрутить ус, как человек, готовый все сокрушить, однако товарищи нисколько его не уважали. Он был богат и поэтому труслив. Его прозвали вороньим капитаном, и на то было две причины. Во-первых, он за целое лье чуял запах пороха и, заслышав перестрелку, удирал со всех ног, а во-вторых, эта кличка была построена на незатейливом солдатском каламбуре, которого он, впрочем, заслуживал и которым другой бы сильно возгордился. Капитан Монтефьоре принадлежал к знатной семье миланских Монтефьоре (хотя законами Итальянского королевства ему запрещалось носить свой титул) и был красивейшим малым в армии. Может быть, эта красота тоже служила тайной причиной его осторожности в бою. Рана, которая изуродовала бы ему нос, рассекла лоб или оставила шрам на щеке, нарушила бы идеальные пропорции одного из тех прекраснейших итальянских лиц, какие порою грезятся женщинам в мечтах. Его лицо, близкое по типу к тому, с какого Жироде писал в своей картине «Восстание в Каире» молодого умирающего турка, обладало меланхолическим очарованием, которое редкую женщину не вводит в заблуждение. Маркиз ди Монтефьоре был наследником по субституции⁷ огромных поместий; доходы с них он заложил на несколько лет вперед, чтоб оплатить свои итальянские похождения, которые в Париже были бы немыслимы. Он разорился, держа в Милане театр, так как старался навязать публике скверную певицу, любившую его, как он говорил, до безумия. Итак, капитана Монтефьоре ожидало прекрасное будущее, и он даже не помышлял рисковать им ради жалкого кусочка красной ленточки. Но хотя он и не был храбрецом, зато был философом, и в истории, выражаясь нашим парламентским языком, бывали такие прецеденты. Разве не поклялся Филипп II после битвы при Сен-Кантене⁸ никогда больше не командовать «Огонь!», кроме как разжигая костры инквизиции, и разве герцог Альба не придерживался той мысли, что самой скверной на свете сделкой явился бы невольный обмен золотой короны на свинцовую пулю? Следовательно, Монтефьоре был последователем Филиппа и в качестве маркиза и в качестве красивого малого, а к тому же мог считать себя тонким политиком, как и Филипп II.

Зная о своем обидном прозвище и пренебрежении полка, Монтефьоре утешался мыслью, что его товарищи — шалопаи, мнению которых, конечно, не придадут большой веры, если им чудом и удастся выйти живыми из этой истребительной войны. Вдобавок, его внешность стоила любого свидетельства о храбрости; он видел себя в будущем непременно полковником — в силу ли особой женской благосклонности или собственного ловкого продвижения — из интендантов в ординарцы, из ординарцев в адъютанты какого-нибудь снисходительного маршала. Ведь слава была для Монтефьоре простым вопросом обмундирования. И вот в один прекрасный день в какой-либо газете о нем напишут: «Доблестный полковник Монтефьоре... и т. д. и т. д.». А тогда, имея сто

тысяч скуди годового дохода, он женится на девице знатного происхождения, и никто больше не посмеет ни оспаривать его храбрость, ни проверять его раны. В заключение скажем, что у капитана Монтефьоре был приятель в лице квартирмейстера его полка, провансальца, родившегося в окрестностях Ниццы, фамилия которого была Диар.

На каторге ли, в мансарде ли богемы друг — великое утешение в несчастьях. Монтефьоре и Диар оба были философами и утешались в жизни общностью своих пороков подобно тому, как два художника усыпляют свои житейские горести надеждами на славу. Оба искали в войне не подвигов, а поживы, и людей, павших в боях, попросту звали дураками. Случайность сделала их солдатами, а им бы следовало заседать вокруг стола, крытого зеленым сукном, на дипломатических конгрессах. Природа кинула Монтефьоре в форму, в каких отливаются Риччо⁹, а Диара — в тигель, где выплавляют дипломатов. Оба обладали беспоконной, изменчивой, почти женской натурой, равно способной на хорошее и дурное; по прихоти этого своеобразного темперамента они могли совершить и преступление и благородный поступок, акт душевного величия и величайшую низость. Судьба таких людей в любую минуту зависит от того, с какой силой — большей или меньшей — воздействуют на их нервную систему бурные, мимолетные страсти.

Диар хорошо знал счетоводство, но ни один солдат не доверил бы ему ни своего кошелька, ни завещания, может быть, из той неприязни, которую военные питают к чиновникам. Квартирмейстер был не лишен храбрости и своего рода юношеской щедрости — качеств, которые у многих исчезают по мере того, как они становятся старше, рассудительней и расчетливей. Вульгарный по наружности, какой бывает иногда смазливая блондинка, Диар был к тому же бахвалом, большим краснобаем и говорил обо всем. Он мнил себя художником и, в подражание двум прославленным генералам, собирал произведения искусства, единственно ради того, уверял он, чтобы сохранить их для потомства. Товарищи не знали, что и подумать о нем. Многие из них, привыкшие при случае прибегать к его кошельку, считали Диара богатым, но он был игрок, а у игрока деньги не держатся. Он был таким же заядлым игроком, как и Монтефьоре, и все офицеры садились с ними играть, ибо, к стыду человеческому, за карточным столом нередко можно видеть партнеров, которые, закончив игру, будто и не знают и презирают друг друга. Как раз с Монтефьоре держал Бьянки пари относительно сердца испанца.

Монтефьоре с Диаром находились в последних рядах во время штурма и оказались ближе всех к центру города, когда он был взят. Такие вещи случаются в местах жарких схваток, однако для наших приятелей это было обычным делом. Поддерживая друг друга, они храбро углубились в лабиринт узких, темных улочек, направляясь каждый по своим делам: один в поисках рисованных мадонн, другой — мадонн живых.

В каком-то месте Таррагоны Диар узнал по архитектуре портика монастырь; дверь была высажена, и Диар кинулся в притвор, якобы желая унять бесчинствовавших там солдат. Он подоспел вовремя, ибо успел помешать двоим парижанам расстрелять Мадонну д'Альбано, и тут же ее купил у них, несмотря на усы, которыми эти два бойких вольтижера ее украсили. Тем временем Монтефьоре, оставшись один, заметил против монастыря дом купца-суконщика, и вдруг оттуда

грянул выстрел — в ту самую минуту, когда красавец капитан, рассматривая дом сверху донизу, уловил в окне быстрый, сверкающий взгляд молоденькой девушки и живо на него ответил. Короткая перестрелка двух пар глаз — и головка девушки скрылась за решетчатым ставнем. Таррагона, взятая приступом, Таррагона, в гневе стреляющая из всех окон, Таррагона, насилуемая, с разметавшимися волосами, полунагая Таррагона с пылающими улицами, наводненными французскими солдатами, убитыми и убивающими, стояла взгляда — взгляда бесстрашной испанки. Не было ль все это боем быков в увеличенном виде? Монтефьоре забыл о поживе; он больше не слышал ни криков, ни ружейной пальбы, ни грохота артиллерии. Ничего божественнее, ничего очаровательнее, чем профиль юной испанки, в жизни не видел этот распутный итальянец, пресытившийся женщинами, мечтавший о несуществующей женщине, ибо он устал от женщин. Он мог еще трепетать, этот сластолюбец и расточитель, промотавший свое состояние на тысячи безумств, на удовлетворение своих низких страстей, пресыщенный молодой развратник, отвратительнейшее чудовище, какое только могло породить наше общество. У Монтефьоре возникла недурная мысль, несомненно, внушенная ему выстрелом лавочника-патриота, — поджечь дом. Но он был один и не мог этого сделать. Средоточием боя теперь стала большая площадь, где несколько упрямов еще защищались. Впрочем, его тут же осенила другая, более удачная мысль. Диар вышел из монастыря, Монтефьоре ничего ему не сказал о своей находке и отправился с ним побродить по городу. Но на другой день итальянский капитан, получив билет на постой, вселился к суконщику. Не было ль это подобающим жилищем для интендантского офицера, ведавшего обмундированием?

Нижний этаж в доме этого доброго испанца был отведен под обширную лавку, защищенную снаружи толстыми железными решетками — такими же решетками и в Париже забраны окна и двери старых магазинов на улице Ломбардцев. Лавка сообщалась с залой, в которую дневной свет проникал только с внутреннего двора; в этой просторной комнате все дышало средневековым: старые, закопченные картины, старинные гобелены, старинное *braziero*¹⁰, на гвозде — шляпа с перьями, ружье гверильясов¹¹ и плащ Бартоло. Эта комната с примыкавшей к ней кухней была единственным местом, где все собирались, ели или грелись у тускло мерцавшей жаровни, покуривая сигары и разжигая в беседе сердца ненавистью к французам. По старинной моде, поставец украшали серебряные жбаны и ценная посуда. Но в скупо проникавшем сюда свете даже ярко сверкающие предметы лишь слабо поблескивали, и все здесь, как на полотнах голландской школы, казалось темным, даже лица. Между лавкой и залой, такой прекрасной по колориту и патриархальности убранства, имелась довольно темная лестница, которая вела вверх, на склад, где на свету у хитроумно пробитых оконцев было удобно рассматривать сукна. Рядом, наверху же, были комнаты купца и его жены. Наконец, под самой крышей, в мансарде с выступом на улицу и контрфорсами, придававшими этому дому причудливый вид, находилось помещение для ученика и служанки. Но их каморки теперь занял купец с женой, предоставив свои комнаты офицеру, — конечно, для того, чтобы избежать всяких столкновений с ним.

Монтефьоре выдал себя за бывшего испанского подданного, преследуемого Наполеоном, которому он служит против воли. Эта ложь имела ожидаемый успех.

Он был приглашен разделить семейную трапезу, как того требовали его имя, происхождение и титул. Монтефьоре знал, чего добивался, стараясь расположить к себе купца: он чуял близость своей мадонны, как людоед чуял свежее человеческое мясо, разыскивая спрятанного мальчика-с-пальчик и его братьев. Однако при всем доверии, которое он сумел внушить купцу, тот хранил глубокое молчание по поводу этой мадонны, и к концу первого дня, проведенного под кровлей честного испанца, офицер не заметил и следа молоденькой девушки, не уловил ни единого признака, говорившего о ее присутствии в жилище купца. Но каждый звук в этом старом доме, построенном почти целиком из дерева, отдавался чрезвычайно гулко, и Монтефьоре лелеял надежду угадать в ночной тишине, где спрятана незнакомка. Капитан решил, что она единственная дочь суконщика и старики родители держат ее взаперти у себя в мансарде, где они обосновались на жительство до самого конца оккупации. Но никаким наитием нельзя было доискаться, где же тот тайник, в котором скрывается бесценное сокровище. Офицер долго стоял, прильнув лицом к окну со свинцовым переплетом в виде мелких ромбов; окно это выходило во двор, со всех сторон замкнутый глухими, высокими стенами. Нигде ни проблеска света, кроме падавшего из комнаты старых супругов, откуда доносился их кашель, шаги и голоса. Девушка словно сквозь землю провалилась! Монтефьоре был слишком хитер, чтобы рискнуть будущим своей страсти, пытаясь ночью обследовать дом, тихонько постучаться во все двери. А вдруг он попадетя с поличным этому пламенному патриоту, подозрительному, каким полагается быть испанцу, отцу и торговцу? Ведь это значило бы неминуемо погибнуть! И капитан решил терпеливо ждать, положившись на время и на человеческую забывчивость, ибо даже преступники, а тем паче честные люди неизбежно кончают тем, что забывают об осторожности. На следующий день, увидев на кухне нечто вроде гамака, он догадался, где ночует служанка. Что касается ученика — тот спал в магазине на прилавке. В этот день, второй день пребывания в доме купца, Монтефьоре за ужином своими проклятиями Наполеону так угодил хозяевам, что слегка разгладились хмурые складки на лице суконщика — испанском, важном, темном лице, похожем на те, что в давние времена вырезались на грифах трехструнных скрипок; а на увядших устах его жены мелькала злобно-веселая улыбка. Лампа и багровые отблески brazero причудливо освещали эту благородную залу. Хозяйка предложила un cigareto¹² своему соотечественнику. В эту минуту Монтефьоре услышал шорох платья и падение стула за ковром, украшавшим стену.

— Что это! — вскрикнула хозяйка, побледнев. — Да помогут нам все святые и да уберегут от несчастья!

— У вас есть там кто-нибудь? — спросил итальянец, не выказывая никакого волнения.

У суконщика вырвалось бранное слово по адресу легкомысленных девиц.

Его жена, встревоженная, отперла потайную дверь и вывела полумертвую от испуга мадонну итальянца. Влюбленный, казалось, не обратил на нее внимания. Но чтоб это не выглядело притворством, он посмотрел на девушку, потом, повернувшись к хозяину, спросил на своем родном языке:

— Это ваша дочь, синьор?

У Переса ди Лагуниа — так звали купца — были обширные торговые связи с Генуей, Флоренцией и Ливорно; он знал итальянский и ответил на этом языке:

— Нет. Будь это моя дочь, я не принимал бы таких предосторожностей. Это дитя доверено нам, и лучше мне умереть, чем увидеть, что с ней произошло хотя малейшее несчастье. Но попробуйте-ка урезонить девушку восемнадцати лет!

— Она очень красива, — холодно отозвался Монтефьоре.

— Ее мать славится красотой! — ответил купец.

И они продолжали курить, наблюдая друг за другом. Монтефьоре дал себе слово даже не смотреть в ее сторону, боясь, что напускная холодность изменит ему; однако едва Перес отвернулся, чтобы сплунуть, Монтефьоре позволил себе украдкой взглянуть на девушку и встретил ее сияющий взор. И тут с той изощренностью зрения, которая наделяет как искушенного развратника, так и скульптора роковой способностью одним взглядом раздеть женщину и мгновенно угадать ее формы, он увидел перед собой венец творения, создать который могла только любовь во всей своей силе. Это было лицо дивной белизны, которое небо Италии позлатило мягкими оттенками бистра как бы для того, чтобы дополнить его выражение серафической безмятежности пламенной гордостью; сиянием, разлитым под его прозрачной кожей, оно было, вероятно, обязано легкой примеси мавританской крови, придававшей ему живость и красочность. Подобранные сверху волосы ниспадали целым каскадом кудрей, оттенявших своими черными блестящими кольцами прозрачное розовое ушко и стройную шею с голубыми прожилками. В рамке этих роскошных кудрей выделялись ее жгучие глаза и яркие губы. Национальная баскина подчеркивала изгиб талии, тонкой, как тростинка. Это была Мадонна, но не итальянская, а испанская, Мадонна Мурильо, самого смелого, самого пламенного из живописцев, единственного, кто в неистовой отваге вдохновения дерзнул изобразить ее опьяненную блаженством зачатия Христа. В этой девушке сочетались три свойства, из которых достаточно одного, чтобы боготворить женщину: чистота жемчужины, покоящейся на дне моря, возвышенная пылкость св. Терезы испанской и безотчетное сладострастие. Ее появление обладало волшебной силой: Монтефьоре показалось, будто все старое, что окружало его, исчезло — девушка всему вернула молодость. Видение было чудесным, но мимолетным. Незнакомку снова водворили в ее таинственную обитель, куда служанка, уже не таясь, принесла ей свечу и ужин.

— Вы правильно делаете, что прячете ее, — сказал Монтефьоре по-итальянски. — Я сохраню вашу тайну. Но черт возьми! У нас есть генералы, способные отнять ее у вас по праву победителей.

Любовная страсть Монтефьоре дошла до предела: он готов был жениться на знакомке. Он стал расспрашивать о ней у хозяина. Перес охотно рассказал о том, как появилась у него питомица. Осторожный испанец решился пойти на эту откровенность из уважения к знатному роду Монтефьоре, про который ему доводилось слышать в Италии, а также желая показать, что девушка недостижима для обольщения. Хотя этот непритязательный человек обладал известным красноречием, свойственным почтенной старости, столь же выразительным, как его простые повадки и отважный выстрел, которым он встретил Монтефьоре, все ж его рассказ выиграет в кратком изложении.

В ту пору, когда Французская революция изменила нравы в странах, служивших ареной ее войн, в Таррагону прибыла некая куртизанка, изгнанная из Вене-

ции после падения последней. Жизнь этого создания была пестрым сплетением романтических авантюр и самых непостижимых перемен. Чаще, чем всякой другой женщине такого пошиба, отверженной обществом, ей случалось по прихоти какого-нибудь вельможи, плененного ее необыкновенной красотой, некоторое время жить в роскоши — ее осыпали золотом и драгоценностями, окружали всеми благами богатства. Тут были цветы, кареты, пажи, камеристки, дворцы, картины, возможность надменно относиться к людям, путешествия на манер Екатерины II — словом, жизнь королевы, обладающей неограниченной властью, не знающей преград своим капризам. А вслед за этим, хотя никто — ни она сама и никакой ученый, физик или химик, не могли бы объяснить, каким образом испарилось ее золото, она оказывалась выброшенной на мостовую, нищая, лишившаяся всего, кроме своей всемогущей красоты, и все же она не испытывала и тени сожаления о прошлом, не думала ни о настоящем, ни о будущем. Надолго ввергнутая в нищету каким-нибудь бедным офицером, игроком, которого она обожала за усы, привязавшись к нему, как собака к своему хозяину, она делила с ним все невзгоды походной жизни, была ему утехой, весело переносила лишения и засыпала под голыми балками чердака столь же спокойно, как под шелковым пологом роскошной кровати. Эта полуитальянка-полуиспанка строго соблюдала предписания церкви и не раз говорила любовнику:

— Приходи завтра, сегодня я принадлежу богу.

Но эта грязь, перемешанная с золотом и благовониями, эта поразительная беспечность, пылкие страсти и горячая вера, зароненная в ее сердце, как алмаз в болото, эта жизнь, которая начинается и кончается на большой койке, удачи и несчастья игрока, перенесенные в жизнь человеческой, во все существование, эта сложная алхимия, где порок разжигал огонь, на котором таяли самые крупные богатства, плавилась и исчезали золото предков и честь великих имен, — все это было следствием того особого духа, какой еще со времен средневековья неизменно передавался в роду этой женщины от матери к дочери: начиная с XIII столетия они не знали брачных уз, самое понятие «отец», его личность, имя и власть были им совершенно неведомы. Прозвище Марана являлось для этой семьи тем же, чем было звание «Стюарт» для славной королевской династии Шотландии — заслуженным именем, вытеснившим родовое в силу того, что в этом роду из века в век передавалась по наследству должность, пожалованная ему во время оно. Во Франции, Испании и Италии на протяжении XIV и XV веков, когда у этих трех стран были общие интересы, то объединявшие, то разъединявшие их и служившие причиной постоянных войн, именем Марана обозначали продажных прелестниц в самом широком понимании этого слова. В то время куртизанки занимали в обществе столь высокое место, о каком в наши дни ничто не может дать представления. Только Нинон де Ланкло и Марион Делорм играли во Франции роль Каталин, Империй¹³, Маран, которые в предшествующие века объединяли у себя носителей сутаны, судейской мантии и шпаги. Одна из Империй в припадке раскаяния выстроила в Риме церковь подобно Родопе, в древности воздвигнувшей пирамиду в Египте. Имя Марана, данное этой странной семье в поношение, в конце концов стало ее собственным и облагородило укorenившееся в ней распутство неоспоримой его давностью.

И вот однажды Марана, уже Марана XIX века, — неизвестно, было ли то в пору ее богатства или нищеты (это осталось тайной между нею и богом, несо-

мненно только, что это случилось в час раскаяния и скорби), — почувствовав, что она погрязла в смрадном болоте, устремила душой к небесам. И тогда она прокляла ту кровь, что текла в ее жилах, прокляла себя, трепеща от мысли, что у нее может родиться дочь, и поклялась, как клянутся такие женщины, клятвой, исполненной честности и воли каторжника, самой твердой воли, самой надежной честности, какая только существует на земле, поклялась перед алтарем, неизбежно веря в его святость, вырастить свою дочь добродетельным существом, праведницей, чтобы оборвать эту длинную цепь плотских грехов и поколений падших женщин, дав ангела, заступницу за всех них перед небом. Обет был дан, потом кровь Маран заговорила, и она снова бросилась в омут прежней жизни. Однако мысль эту она теперь прочно хранила в сердце. Но вот ей случилось полюбить неистовой любовью куртизанки, как Генриетта Вильсон любила лорда Понсонби, как мадмуазель Дюпон любила Болингброка, как маркиза Пескара¹⁴ любила своего мужа. Но нет, она не любила, а боготворила белокурого, женственного мужчину, которого наделила не существующими в нем добродетелями, в себе же видела только пороки. И от этого слабого человека, в безрассудном браке, которому и бог и люди отказывают в благословении, который следовало бы оправдать счастьем, хотя и счастье не оправдывает его греховность, в этом браке, за который иногда краснеют даже люди, лишенные стыда, она родила дочь и решила спасти ее для светлой жизни, для целомудрия и чистоты, какими сама не обладала. С тех пор, была ли Марана счастлива или несчастна, жила ли в богатстве или нищете, в ее сердце горело чистое чувство, самое прекрасное из всех человеческих чувств, ибо оно самое бескорыстное. В любви еще есть свой эгоизм, в материнской любви его уже не существует. Марана была матерью больше, чем всякая другая мать, ибо для нее в ее вечных крушениях материнство могло стать якорем спасения. Свято выполнить хоть часть своего земного долга, дав небесам еще одного ангела, — разве это не было большим, чем позднее раскаяние, и единственной чистой молитвой, какую она смела вознести к богу? И когда ее Мария-Хуана-Пепита (мать готова была дать ей в защитницы всех великомучениц из жития святых), когда это крошечное создание было ей даровано, она возымела столь высокое понятие о величии матери, что умолила грех дать ей передышку. Марана стала добродетельной и жила в одиночестве. Ни пиров больше, ни разгульных ночей, ни любви! Отныне все ее богатство, вся радость заключались в хрупкой колыбели дочери. Звук детского голоса стал для нее звонким родником оазиса среди раскаленной пустыни жизни. Ее чувство не соразмерить было ни с чим другим. Не вмещало ль оно в себе все земные чувства и небесные чаяния? Марана не хотела порочить дочь новым грязным пятном, пятно же ее происхождения решила смыть всякими социальными привилегиями, а потому потребовала, чтобы молодой отец дал ребенку состояние и свое имя. Ее дочь звалась уже не Хуаной Марана, а Хуаной ди Манчини. Миновало семь лет радости и поцелуев, упоения, счастья, и бедная Марана рассталась со своим кумиром, чтобы Хуане не пришлось согнуть голову под тяжестью наследственного позора. Мать нашла в себе мужество отказаться от своего детища ради его же блага и с великой горестью сыскала для него другую мать, другую семью, которая служила б ему примером чистой и нравственной жизни. Отречение матери от своего ребенка — акт либо возвышенный, либо ужасный. Здесь как не назвать его возвышенным?